

ПУБЛИКАЦИИ

Николай Гуськов

РЫЦАРЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ ЭПОХИ: ЖИТИЕ МАЛЕНЬКОГО АРИСТОКРАТА

В преамбуле к публикации малоизвестного произведения «Образец детей, или Жизнь маленького графа Платона Зубова» (1801), написанного на французском языке княгиней А. С. Всеволожской (Голициной) и переведенного на русский язык С. Соковниным, рассматривается история создания этого текста. Платон Зубов (1796–1800), сын вельможи екатерининских времен, умерший в возрасте четырех с половиной лет, представлен в книге как идеальное дитя. В преамбуле затрагивается вопрос о способах репрезентации образа ребенка в европейской литературе конца XVIII — начала XIX вв., обращается внимание на контекст литературы о детях XVIII–начала XIX вв., в частности отмечается влияние «Жизни славных детей» А.-Ф.-Ж. Фревиля. По сравнению с большинством текстов «Образец детей», хотя и содержит канонические черты агиографических и дидактических сочинений, демонстрирует попытку ввести элементы психологизма, жизненности, запечатлеть конкретный образ маленького аристократа своей эпохи. В герое книги соединяются элементы чувствительной натуры (как результат женского воспитания) и унаследованные от отца черты «куртизана», проникнутого сословными предрассудками. Образ Платона Зубова предвосхищает персонажей-детей, изображенных в литературе более позднего периода, перекликается с образом героя романа Н. М. Карамзина «Рыцарь нашего времени».

Ключевые слова: детская литература, образ ребенка, русская литература XVIII в., граф В. А. Зубов, Платон Зубов, княгиня А. С. Всеволожская (Голицина), сентиментализм

Николай Александрович Гуськов

Санкт-Петербургский государственный университет,

Санкт-Петербург

kakto@mail.ru

В Москве в 1801 г. отдельными изданиями вышли французский оригинал и русский перевод книги, которая ещё не привлекала внимания историков словесности, хотя его и заслуживает — «Modèle des enfants ou Vie du pètit comte Platon de Zouboff» / «Образец детей, или Жизнь маленького графа Платона Зубова» [Образец 1801]. Это сочинение «на случай», малоизвестное сегодня даже специалистам и потому целиком приведенное в приложении к статье, было откликом на смерть четырехлетнего ребенка — графа Платона Валериановича Зубова (1796–1800)¹. Видимо, книга преследовала практические цели, не претендуя на роль художественного творения, и воспринималась не как литературный факт, а как событие светской жизни и отражение интимных переживаний небольшой группы аристократов. Автор — Анна Сергеевна Всеволожская (1774?–1838, с 1802 г. — княгиня Голицына) в 1820–30-х гг. приобрела прозвище «Vieille de Rocher» («Старуха со скалы») и известность как организатор религиозной коммуны и крупного винодельческого предприятия в Крыму² (Рис. 1). «Образец детей» — акт дружеского участия, публичное изъясление сочувствия (в искренности которого вряд ли стоит сомневаться) близким людям, написанное на языке их повседневного общения. Выявление возможных источников не входит в задачи статьи: подражание образцам поощрялось, а для неопытной писательницы³ было неизбежно. Воспроизведение готовых формул эпитафий и панегириков здесь очевидно. Сама ситуация поминального слова способствует использованию отвлеченных оборотов, сглаживанию и приукрашиванию, но представляется, что при всей риторической сконструированности достоверность изображаемого значительна, благодаря ориентации писательницы на интимный круг, где можно высказываться откровенно.

Всеволожская попутно указала и на педагогический потенциал книги, но не претендовала на широкую аудиторию, адресуясь к своим племянникам, из посторонних же — лишь к истинно чувствительным натурам. Идея использовать детский некролог в качестве назидательного примера воодушевила Сергея Соковнина⁴ на перевод, посвященный ученому и педагогу А. А. Прокоповичу-Антонскому (1762–1848), позднее ректору Московского университета, совмещавшему занятия естествознанием и богословием, сотруднику масонских изданий. Обращение переводчика вызвано, видимо, не одной признательностью к наставнику: Прокоповича-Антонского как сторонника филантропической педагогики [Кочеткова 1994, 39–40], руководителя московского Благородного



Рис. 1. Портрет Анны Сергеевны Всеволожской (1774?—1838, с 1802 г. — княгиня Голицына)

пансиона могла заинтересовать чувствительная книга о мальчике-аристократе, построенная по риторическим правилам, но на реальном материале из среды, к которой принадлежали его воспитанники. Популярный тогда А.-Ф.-Ж. Фревиль не случайно вопрошал: «что может представлено быть убедительнее, как самые дела тех их товарищей, которые отличаются от других своим умом? Что происходит от равных нам или от тех, которые в почти подобном нашему находятся состоянии, непременно возбуждает в нас внимание и потом действует на наше поведение. Счастливы мы, если из сего источника проистекают примеры добродетели! Они скорее имеют действие и удобряют внутренность нашего сердца» [Фревиль 1800, X-XI]. Писатель считал, что особенно назидательна гибель добродетельного юного героя:

какое нежное участие внушают любезные и послушные дети, весьма рано среди матерних ласк похищенные? Уже заранее, по правильному предубеждению, толкуют все в их пользу; уже воображением видят в свете их сладкие плоды их осени и живейшею пронзаются горестию, судя по настоящему о том, чем бы они, верно, сделались впредь. Нельзя равномерно не отдать им должной дани удивления, если размыслить, что, будучи пожаты в лета смехов и игр, могут, однако ж, научить добродетели маленьких своих современников и представить, долгое уже время спустя после их смерти, детям будущих веков разительные примеры добра [Фревилль 1800, VII–VIII].

Не только на фоне аллегорических поучений, но и рядом с экзотической для русской публики «Жизнью славных детей» Фревилля, большинство глав которой отнесено к далеким векам и краям, «Образец детей» выглядит более чем актуальным для своей эпохи и среды.

Название, поясняющее идею книги, можно было бы списать на необоснованное преувеличение достоинств всеобщего любимца: подобные случаи слишком часты. Однако автор несколько раз подчеркивает, что образцовый ребенок, во-первых, достоин служить примером и взрослым; во-вторых, порой совершает проступки, неизбежные в его возрасте. Первая оговорка — общее место сентиментальной культуры, ведь дитя, не испорченное опытом жизни в обществе и верное законам природы, — естественный, то есть истинный человек, и уподобиться ему — долг любого читателя. Старинная детская литература создавала жития юных существ, очерченных абстрактно, вне конкретных (особенно повседневных) обстоятельств и психологизма в нашем понимании. Характеры не индивидуальны, часто не указаны пол, возраст, национальность, социальное положение безымянных героев, зато, как принято в агиографии, они воплощают крайние проявления добродетели и порока. Последние даже потеснили первых [Костюхина 2008, 9–10, 14–32]. «Образец детей» — житие благонаправленного младенца, не столь уж условного: обилие деталей и упоминания о детских слабостях героя, несмотря на его апологию, придают портрету психологическую убедительность в той мере, в какой это было доступно начинающей писательнице, ведь жизненность и неоднозначность детских образов свойственны лишь самым наблюдательным авторам XVIII в.

Житийность «Образца детей» — сугубо светская, в то время как детская литература сохраняла в то время явственный религиозный оттенок; связь ребенка как естественного человека с высшими

началами казалась органичной. «Мысль о божестве была одною из первых его мыслей, — писал Н. М. Карамзин о главном герое повести „Рыцарь нашего времени“ (1803), — Нежная родительница наилучшим образом старалась утвердить ее в душе Леона» [Карамзин 1964, 767]. Аналогично, по воспоминаниям Д. И. Фонвизина, поступал его отец. Первым словом Г. Р. Державина, по преданию, было «Бог». О набожности маленького Зубова не говорится: он молится лишь однажды, впад в иступленное отчаяние. Религиозная тема возникает в начале и конце повествования, когда усопший младенец уподобляется ангелу-заступнику за живых. Этот персонаж, в отличие от большинства идеальных детей из книг XIX в., не показан и патриотом, что отчасти обусловлено многонациональным происхождением прототипа: сын русского дворянина, по материнской линии — внук англо-ирландца, выросшего в Польше, взявшего супругу из шляхетского рода, чьи представители женились на немках, юный граф, которого обучает *monsieur* Лесаж, с младенчества использует для общения, как и его родители и друзья дома, французский язык. Так обстояло дело во многих знатных семействах. «Мы знакомились с Америкой и американцами, а Россия все еще скрывалась от нас в каком-то отдаленном тумане. Полюбив страстно французский язык (ибо мы и Кампе читали во французском переводе), я затеял уверять, будто бы родился во Франции, а не в России. Впрочем, и не грех было породниться с Лебланом (учитель — *Н. Г.*): он брал жалованье за присмотр за нами, а душу свою передавал по безусловному стремлению благородного духа своего...» [Глинка 2004, 83–84].

Симпатии к светскому и космополитическому воспитанию, пространенному в аристократической среде, разделяет и сочинительница «Образца детей». Проповедуя в России по-французски английский пиетизм, она со временем преисполнилась фанатизма, но в молодости вряд ли превосходила в мистических порывах мать своего маленького героя, чья

набожность, несмотря на ее увлечения и, скажем прямо, слабости, не была в ней ни ханжеством, ни обманом, ни лицемерием. Она была набожна, потому что в слабости своей имела нужду в опоре, в убежище покаяния, может быть, и скоротечного, но не менее того, на данную минуту, успокоительного и освежающего. Ригористы, строгие духовные законоучители не могут признавать подобную набожность за настоящую и требуемую церковным и нравственным уставом, и они вполне правы со своей точки зрения и с точки зрения истины. Но мы не предпринимаем здесь филологического рассуждения на эту тему. <...> она

имела про себя набожность мягкосердечную... общедоступную, домашнюю, ручную, к которой прибегала она во всех обстоятельствах жизни... Как бы ни провела она день свой накануне... ей было необходимо ехать утром в церковь. Так начинала она день свой. Как проводила и кончала его, это не наше дело. Она рассказывала мне, что в молодости ее молитва, на всякий обиход дня, была ей так нужна и так привычна, что, готовясь быть вечером на бале, она поутру молила Бога в костеле, чтобы такой-то кавалер, который занимал ее думы, пригласил ее на котильон [Вяземский 1883, 228–229].

Однако прививать эту бытовую религиозность сыну она, в отличие от матерей из сентиментальных сочинений, не стремилась. Дух просветительских салонов с присущей им свободой нравов, усвоенный автором «Образца детей», побуждал не только игнорировать некоторые обязательные для жития аспекты, но и касаться сторон, недопустимых с традиционной точки зрения. Правда, в тексте непосредственно не сообщено, что ребенок, возводимый в образец для подражания, рожден вне официального брака и узаконен незадолго до смерти, но этот факт был достоянием избранного круга читателей и предметом светских пересудов. Мать героя, известная «по романическим приключениям жизни ее, вообще вполне независимой, несколько своевольной и нередко шедшей наперекор и перерез некоторым статьям устава об общественном благочинии» [Вяземский 1883, 228]. Марианна (Мария Федоровна), урожденная Любомирская (1773–1810)⁵ — состояла в браке с А. П. Потоцким, от которого в 1795 г. бежала с Валерианом Александровичем Зубовым (1771–1804), но, не получив развода, лишь после смерти супруга (вероятно, в 1801 г.) обвенчалась с возлюбленным, дважды разделив периоды его могущества и опалы. Зубов усыновил Платона и похоронил в фамильном склепе.

Риторические стратегии поучительных жанров и салонных мадригалов объединяются при обыгрывании значений говорящих имен — без прямых пояснений, намеками на уровне подтекста. Удачно сложилось, что «маленький философ» зовется Платоном; перевод фамилии наставника «Le Sage» — «мудрец», а товарищ носит редкое, особенно в сочетании с титулом имя, воплощающее нежную дружбу, — Орест. Вопрос о том, обыгрывает ли автор христианские аллюзии имени Мария, дискусионен.

Пока романтики не ввели моду на инфантильное поведение и миросозерцание в любом возрасте, господствовали, вопреки сентиментальному культу детства, традиционные представления о неполноценности ребенка, которому к чистоте переживаний и помыслов

следовало побыстрее присоединить зрелость разума и воли [Костюхина 2008, 22–23]. Изгладившийся из памяти период (Руссо помнил себя с 5 лет, Фонвизин — с 6 и т. п.) не принимали всерьез, включая печали, болезни, даже смерть младенца: «Ценность ребенка увеличивается по мере его возраста. К цене его личности присоединяется цена забот, которых он стоил; к потере его жизни присоединяется в нем сознание смерти. Итак, главным образом о будущем надо думать, радея о его сохранении; против зол молодости надо вооружить его прежде, чем он достиг ее; ведь если цена жизни увеличивается до того возраста, когда она станет полезной, то не безумно ли извлекать детство от кое-каких зол, умножая их в возрасте разума?» [Руссо 1912, 23]. Над идеализацией младенчества иронизировал и Карамзин; «Оно слишком просто, слишком невинно, а потому и совсем нелюбопытно для нас, испорченных людей. Не спорю, что в некотором смысле можно назвать его счастливым временем, истинною Аркадиею жизни; но потому-то и нечего писать об нем. <...> Назовем младенчество прекрасным лужком, на который хорошо взглянуть, который хорошо похвалить двумя, тремя словами, но которого описывать подробно не советую» [Карамзин 1964, 758]. Одним из первых прославил ранний возраст Фревилль:

многие почитают детей за кукол, коих главное дело полагают только в том, чтобы резвиться, пить, есть и спать; думают, что они, подобно попугаям, ничего более не умеют, как повторять звуки; что ничего сами собою не могут сделать, что бы изобразило характер чувствительного и умного существа. Так мыслящие, по-видимому, никогда не делали наблюдений над природою и весьма удалены от истины. <...> Всякому известно, что большая часть детей не таковы точно бывают, каковыми с первого взгляду кажутся. Способны будучи, судя по характерам, к мужеству, к внимательности, понятливости, рассуждению и даже к изобретению, от самой колыбели растят семена разных свойств, которых малоопытные глаза не усматривают, лишь ветреность ребячеству приличная мешает оные заметить. Один новейший стихотворец весьма хорошо сказал: <...> *“Дитя все разумеет, даже самое молчание”* (цитата из поэмы П.-С. Марешала (1750–1803) «Детство» — Н. Г.). [Фревилль 1800, XI–XII].

В «Образце детей» бытие младенца предстает в деталях, не сведено к физиологическим процессам, а одухотворено, гибель же вызывает глубокое горе, слабо утोलимое традиционными христианскими сентенциями. Это не свойственно детской литературе не только XVIII в. [Сергиенко 2015], но и XIX в., где часто смерть —

заслуженное наказание порочных детей и блаженное избавление от реальных и потенциальных страданий земного мира для добродетельных.

Трудно судить, насколько гиперболичен образ героя, созданный в повести. Желание претворить педагогическую концепцию в жизнь периодически приводило к тому, что дети с незаурядными способностями, вынужденные подчиниться установленным требованиям, действительно, умственно развивались очень рано. Вспомним, что Екатерина II сочинила сказку о царевиче Хлоре для старшего внука, когда тому было 3 года, и он должен был включиться в игры на тему этой философской аллегии. Руссо сообщает, что прочел все оставшиеся от матери романы в возрасте от 5 до 7 лет. Подобных фактов можно привести немало. Об успехах Платона Зубова в учении, хотя он в соответствии с каноном мудр не по летам, не говорится ничего исключительного: вполне вероятно, что он освоил названия животных, пристрастился к черчению карт и слушанию интересных историй. Взрослость проявилась не в умственной, а в душевной его жизни. Маленький граф — образец чувствительной натуры и придворного. Эти две ипостаси — экзистенциальная и социальная — унаследованы им соответственно от матери, которая представлена в книге природным совершенством, и от отца, изображенного славным воином. Женское и мужское начала (как их тогда понимали) сосуществуют в герое еще гармонично, но хотя речь о нем часто идет именно в среднем роде, это не абстрактное благонравное дитя поучительной прозы тех лет [Костюхина 2008, 32–39], а обладатель своего — двойственного — характера (составного амплуа).

Чувствительность обнаруживается уже в том, как нарисован портрет героя. Над сентиментальным идеалом детской красоты подшучивал Карамзин: «Если вы хотите иметь сына, то каким его воображаете? Прекрасным?.. Беленьким, полненьким, с розовыми губками, с греческим носиком, с черными глазками, с кофейными волосками на кругленькой головке: не правда ли?.. Таков был Леон. Теперь вы имеете об нем идею: поцелуйте же его в мыслях» [Карамзин 1964, 757]. Аналогичное описание маленького Зубова, вероятно, соответствовало бы действительности. Отец его, адресат мадригала Державина «К красавцу», «превосходил красотой брата своего, князя Платона Александровича (последнего фаворита Екатерины II — *Н. Г.*), в особенности отличался белизною лица, на котором всегда играл нежный румянец» [Бантыш-Каменский 1836, 410]. «Особенно у него были живые глаза; взгляд его был чрезвычайно приятен. После того, как он лишился употребления



Рис. 2. Графиня Мария Федоровна Зубова, урожденная Любомирская (1773–1810), портрет работы Э. Л. Виже-Лебрэн

ноги (в 23 года во время польской кампании — *Н. Г.*) и должен был все сидеть, он сделался очень толст. Его внутренние качества вовсе не соответствовали его внешности» [Гельбиг 1887, 436]. Не потому ли портрет генерала не упомянут; лицом мальчик подобен Амуру и повторяет мать, чей внешний и внутренний мир находятся в гармонии и подчинены порывам любви (Рис. 2).

Она не была красавица ни по греческому образцу, ни по каким другим пластическим образцам. Живописец и ваятель, может быть, не захотели бы посвятить ей ни кисти своей, ни резца: могущество и очарование прелестей ее остались бы для них неуловимыми. ...есть цветы, не бросающиеся в глаза, не поражающие своей стройностью, своим блеском, но привлекающие к себе и пропитывающие кругом себя воздух невыразимым благоуханием. Приближаясь к ним, уже ощущаешь силу очарования их, и чем далее остаешься в этой атмосфере, тем более чувством, умом, душой проникаешься ею и предаешься ей. Даже заочно, даже вдали, и по пространству и по времени, это влияние, это таинственное наитие не совершенно теряет силу свою. <...> Есть польское выражение, которым вознаграждается в женщине недостаток полновластной красоты, а именно говорят о ней, что она *bardzo zgrabna*: и многие полячки довольствуются, и хорошо делают, что довольству-

ются этой приметой, особенно и почти исключительно свойственной польской женской натуре [Вяземский 1883, 227].

Мнение о том, что красота этой дамы более сказывалась в душевных, нежели в материальных проявлениях, очевидно, разделяла и подруга-писательница, подчеркнув сходство сына с матерью и сосредоточиваясь на их психологических портретах.

«Воплощением „истинной чувствительности“ для русских сентименталистов сделался „дух, отверстый состраданию“, готовность открыть душу „всему горестному, всему угнетенному, всему слезящему“» [Кочеткова 1994, 257]. Особенно проявляются эти качества у тех, чья жизнь следует законам природы, в частности у женщин и детей. «Чувствительность моя была беспримерна. Однажды отец мой, собрав всех своих младенцев, стал рассказывать нам историю Иосифа Прекрасного. В рассказывании его не было никакого украшения; но как повесть сама собою есть весьма трогательная, то весьма скоро навернулись слезы на глаза мои; потом начал я рыдать неутешно» [Фонвизин 1959, 2, 86]. Фонвизин устыдился своих слез, страшась, что их примут за проявление глупости, маленький же Зубов свободно проливает их совместно с любезными родителями, и это знаменует родство нежных душ, составляющих неразлучное единство, отрешившихся от всего мира и живущих лишь друг для друга (посвященные, впрочем, знали, что уединение в курляндском поместье было вызвано прежде всего царской немилостью). Платон, подобно безвременно угасшему герою «Сельского кладбища» (1802) В. А. Жуковского, «кроток сердцем был, чувствителен душою — / Чувствительным Творец награду положил. / Дарил несчастных он — чем только мог — слезою; / В награду от Творца он друга получил» [Жуковский 1999, 57] и выступал утешителем бедных (филантропический порыв накормить голодных на картинке), больных (любопытные вопросы, чтоб отвлечь страждущего отца), женщин (внимание к опечаленной гостье) — то есть людей, зачислявшихся, подобно ему, ребенку, в категорию естественных и в первую очередь заслуживающих сострадания. Особенно показательна жажда опекать в роли взрослого грудных младенцев, иллюстрирующая один из педагогических постулатов Руссо: «воспитатель ребенка должен быть молодым, и при том настолько молодым, насколько это совместимо с мудростью. Я бы желал, чтоб он сам был ребенком, если б это было возможно, чтобы он мог сделаться товарищем своего воспитанника и приобрести его доверие, разделяя его забавы» [Руссо 1912, 27]. Перечисленные мо-

тивы очень распространены в нравоучительной детской литературе XIX в.

«Любовь питала, согревала, тешила, веселила его, — сообщает о рыцаре своего времени Карамзин, — была первым впечатлением его души, первою краскою, первою чертою на *белом листе ее чувствительности*» [Карамзин 1964, 759]. Образцовое дитя — плод запретной взаимной страсти, потребность в любви и дружестве для него органична. Еще в колыбели граф Зубов стал кавалером, разумеется, не в том смысле, в каком прославился его отец («Развратниками можно назвать в особенности Валерьяна Зубова и Петра Салтыкова... Они похищали девушек на улицах, насильовали их, если находили их красивыми, а если нет, оставляли их слугам, которые должны были воспользоваться ими в их присутствии» [Массон 1996, 73]), Вследствие своей невинности Платон не в состоянии понять причины, но интуитивно ощущает суть взрослых переживаний и маменьки, и ее подруги⁶, делаясь другом дам, поверенным их чувств (звания почетные в карамзинском кругу). Как галантный рыцарь он надежно хранит порученные ему тайны, выдерживая испытания (впрочем, по-детски забавно). Чувствительность героя порождена и природой, и женским воспитанием и окружением. Влияние на характеры и поведение дворян рубежа XVIII–XIX вв. со стороны женщин общеизвестно [Лотман 1994, 53–74], их перво-степенную роль в процессе формирования личности провозгласил Руссо:

Первоначальное воспитание — самое важное и неоспоримо принадлежит женщинам: если бы Творец природы желал, чтобы оно принадлежало мужчинам, он дал бы им молоко для кормления детей. Обращайтесь же всегда преимущественно к женщинам в наших трактатах о воспитании; независимо от того, что они в состоянии заниматься им пристальнее, чем мужчины, и всегда сильнее влияют на него, они больше заинтересованы в успехе <...> Законы... дают мало власти матерям. Между тем их состояние достовернее отцовского, их обязанности более тягостны, их заботы важнее для семейного порядка, и обыкновенно они более привязаны к детям. ...наш первый наставник — наша кормилица [Руссо 1912, 11–12, 17].

Призыв философа к матерям кормить детей собственной грудью прежде всего нашел отклик в сентиментальной литературе, видевшей в таком поведении исток нравственного воспитания: «тогда не говорил еще Руссо, но говорила уже природа, и мать героя нашего сама была его кормилицею. Итак, не удивительно, что Леон

на заре жизни своей плакал, кричал и немог реже других младенцев: молоко нежных родительниц есть для детей и лучшая пища и лучшее лекарство» [Карамзин 1964, 759]. Графиня Зубова, подобно карамзинской героине и в отличие от многих дам высшего круга, последовала закону природы, установив с сыном неразрывную связь, которая позволяет ему героически перенести первое жизненное испытание — отнятие от груди. Не все чувствительные дети проявляли при этой инициации такое благородство: «Не знаю, для чего отнимали меня от кормилицы уже поздно. На третьем году случилось со мною сие лишение, которое, как сказывал мне сам отец мой, переносил я с ужасным нетерпением и тоскою. Однажды он, подошед ко мне, спросил меня: „Грустно тебе, друг мой?“ — „А так-то грустно, батюшка, — отвечал я ему, затрепетав от злобы, — что я и тебя и себя теперь же вдавил бы в землю“» [Фонвизин 1959, 2, 84]. Платон демонстрирует способность волевым усилием отрешиться от физиологической зависимости во имя более значимых духовных ценностей: любимое существо для него важнее, чем питающее. Чтобы сохранить маменьку в роли сердечного друга, он готов утратить ее в ипостаси кормилицы. В результате столь взрослого решения проблемы исходное материальное единство матери и сына разорвано, но зато нераздельность их душ полностью сохранена. Ср. комическое обыгрывание той же антитезы в «Недоросле»: «С братцем переведаюсь не по-твоему, — обращается госпожа Простакова к Еремеевне, упрекая кормилицу Митрофана за плохую защиту его от Скотинина, — Пусть же все добрые люди увидят, что мама и что мать родная» [Фонвизин 1959, 1, 127].

Сострадающее больному отцу «образцовое дитя» оказывается все же маменькиным сыном. В нашей литературе целая галерея подобных персонажей (от Митрофанушки Простакова до Иудушки Головлева) выведена саркастически (то же видим у английских бытописателей от Г. Фильдинга и О. Гольдсмита до Ч. Диккенса), но сентиментальная традиция относится к ним апологетически вслед Руссо:

Бывают случаи, когда сын, оказавшийся непочтительным к отцу, может быть до некоторой степени извинен; но если, при каких бы то ни было обстоятельствах, ребенок оказывается настолько противоестественным, что не обнаруживает почтения к матери, к той, которая носила его в своей утробе, питала его своим молоком, в течение многих лет забывала о себе в заботах о нем, — то следует поскорее придушить этого несчастного как чудовище, недостойное глядеть на свет Божий. <...> Ребенок должен любить свою мать прежде, чем узнать, что он

это должен. Если голос крови не закреплен привычкой и заботами, он умолкает в первые годы, и сердце, так сказать, умирает прежде, не успев родиться [Руссо 1912, 12, 22].

Эти резонные суждения, доведенные до крайности, создали культ дитяти, которое неразлучно с матерью, наслаждается, созерцая ее, повторяя ее имя, обожает связанные с нею предметы (воистину «вещественные знаки невещественных отношений» [Цит. по: Гончаров 1997, 213]), приходит в отчаяние от ее строгого взгляда или слова. Таков и Платон Зубов, его описание уже предвещает строки Карамзина (1803):

ничто не занимало его так, как ласки родительницы, никакого вопроса не повторял он столь часто, как: «Маменька! Что тебе надобно?», никуда не хотел идти от нее и, только ходя за нею, ходить научился. <...> мать была единственным его лексиконом; то есть... она учила его говорить и... он, забывая слова других, замечал и помнил каждое ее слово; <...> он, зная уже имена всех птичек, которые порхали в их саду и в роще, и всех цветов, которые росли на лугах и в поле, не знал еще, каким именем называют в свете дурных людей и дела их... сколько раз в день, в минуту нежная родительница целовала его, плакала и благодарила небо; сколько раз и он маленькими своими ручонками обнимал ее, прижимаясь к ее груди; как голос его тверже и тверже проносил: «Люблю тебя, маменька!» и как сердце его время от времени чувствовало это живее! [Карамзин 1964, 759–760].

Именно чувствительность формирует в мальчике не только рыцарственную галантность, но и качества, которые традиционно связывались с разумом и долгом, считались результатами воспитания мужского: беспрекословное послушание, стоическая готовность безропотно перенести наказание (случай с привязанной рукой) и даже целовать ударившую его руку, заботливая осторожность (предостережение в адрес матери, вставшей на ходули). Все это продиктовано у маленького графа любовью к родителям, включая и интерес к Плутарху, из которого он, подобно многим сверстникам, черпал примеры добродетели [Лотман 1994, 62–64], участь у античных героев стоически переносить боль и не подводить товарищей, как требовал кодекс дворянской чести [Муравьева 2021, 55–91]. Фревилль сомневался в способности детей даже 9–10 лет усвоить Плутарха [Фревилль 1800, VIII–IX], но Платону помогало милосердие. Дух мальчика не сломлен и смертельным недугом, неосознанно он следует жестокому завету Руссо: «Если ребенок не умеет лечиться, то пусть он научится болеть: это искусство заменяет первое»

[Руссо 1912, 32]. Воспитание, которое дают герою женщины, при всей чувствительности — взыскательно, графиня Зубова проявляет суровую выдержку и волю, формируя их и в сыне. Эта эмансипированная для своего времени дама, «живая, веселая, имела в своем характере много амазонского (очевидно, надевала и мужской костюм, раз вставала на ходули — *Н. Г.*) и отличалась быстрым умом» [Булгарин 1846, 236–237], следовала порывам страстей, а не общепринятым понятиям о брачных и любовных союзах. «Она была отменно добрая, благотворительная и честная, если не жена, то женщина... ...по собственному признанию ее, в физическом организме ее не было врожденных свойств, объясняющих ее увлечения. Зародыши этих увлечений прозябали в сердце ее, вырастали и созревали в голове и окончательно развивались на почве польской природы» [Вяземский 1883, 228, 230]. Подобный образ жизни позднее вела и сочинительница «Образца детей»: оставила супруга сразу после свадьбы, сама ведала делами, ходила в мужском платье при чепце. Маленький граф формировался в специфической атмосфере мужественной чувствительности, создаваемой эмансипированными дамами. Когда В. А. Зубов, уже инвалид, возглавил армию, его сопровождала в походе на Персию не обвенчанная с ним Потоцкая с новорожденным ребенком. Они прибыли на Кавказ в середине апреля 1796 г.: Платону было около месяца. Подобную почти безрассудную отвагу проявили еще две офицерские жены; записки одной из них демонстрируют обстановку, в которой провел первые месяцы образцовый младенец:

вечером разразилась страшная гроза, продолжавшаяся всю ночь; я не могла сомкнуть глаз, мой домик трещал и ежеминутно грозил разрушиться, мы были вынуждены всю ночь держать веревки, которыми он укреплялся; ...я сидела по уши в грязи и соскучилась до смерти, не говоря уже о том, что если бы наш неприятель был храбрее и энергичнее, то он мог без труда овладеть вагенбургом (обозным лагерем — *Н. Г.*). <...> В виде развлечения мне приходилось слышать каждый вечер вой шакалов, внушавший мне вначале ужас; <...> Надобно сознаться, что я провела первую ночь в лагере не особенно спокойно; постоянные выстрелы и свист, производимый полетом пуль, не могли показаться мне особенно приятной музыкой; сон мой нарушался также беспрестанным криком «хабарда», раздававшимся беспрестанно в городе... Однако что значит сила привычки: мой сон был нарушен этим шумом только первую ночь, а на вторую я спала уже превосходно. ...при виде... скорпиона, у меня мурашки побежали по телу; я особенно боялась за Васю (годовалого В. М. Бакунина (1795–1863),

будущего генерал-майора — *Н. Г.*) и решила вовсе не пускать его на пол в столь опасном месте; разговаривая о скорпионах, мы выражали надежду, что они попадаются редко, как вдруг, к ужасу нашему убедились, что их было по одному, а зачастую и по два под каждым камнем. Это открытие не могло порадовать нас, но я старалась освоиться с мыслью, что мы окружены ими со всех сторон; в Петербурге само название скорпиона наводило на меня ужас. <...> Во время переправы все мои заботы были только о Васе; я опасалась, чтобы страшный звук, производимый волнами, не повлиял на него слишком сильно, и чтобы страх, испытанный в столь раннем возрасте, не оставил следов на всю его жизнь, поэтому я употребила все старания, чтобы отвлечь его внимание и чем-нибудь занять его. Это удалось мне вполне; он совсем не испугался, хотя было отчего [Бакунина 1887, 352–365].

Традиционный мотив воспитания будущего воина в армии в «Образце детей» основан на достоверных фактах, впрочем, мальчик рос среди солдат не два с половиной года, а гораздо меньше: император Павел, взойдя 6 ноября 1796 г. на престол, вернул войска и отправил графа в отставку. Гиперболой автор подчеркивает наличие у младенца героических качеств отца. Тот и сам был еще очень молод; Екатерине II казался отважным ребенком: «Дите наше — Валериана Алек[сандровича] — я выпустила в армию подполковником, и он жадно желает ехать к тебе... — писала она кн. Г. А. Потемкину 17 октября 1789 г. — [Я уверена, что ты, подобно мне, скажешь, что это занимательное дитя, умирающее от желания все хорошо сделать] (перевод с французского — *Н. Г.*). Пожалуй, люби его» [Екатерина II, Потемкин 1876, 28]. За свою короткую жизнь Зубов успел повоевать с Францией (в составе иностранных войск), Турцией, Польшей, Персией и везде проявил отчаянную храбрость. Полководческие неудачи объясняются его неопытностью: в 23 года он назначен генералом. Отец и сын Зубовы восхищены героями Плутарха, Фарсальским сражением, как многие представители эпохи Наполеона. Чувствительный Эраст у Карамзина «превозносил до небес великодушие и храбрость Александра: <...> „Он победил вселенную!“» [Карамзин 1964, 743]. Героизм старшего Зубова, помимо юношеского порыва к опасным приключениям, воодушевлен не столько долгом служения престолу и Отечеству, сколько жаждой личной славы, которая достигается бесстрашием, рыцарским угождением царствующей покровительнице и ловкостью при дворе. Как свидетельствует участница персидского похода:

В нем есть хорошие задатки, но он не получил, по-видимому, хорошего воспитания и никогда не старался пополнить пробелы своего образования и исправить свои недостатки, избалованный затем удачами и еще более лестью, окружавшею его со всех сторон, граф вообразил, что он заслужил своими собственными достоинствами то высокое положение, на которое поставила его судьба. Боясь уронить свое достоинство, он сделался горд; добрый от природы, ...но слабый характером, он боится, как ребенок, чтобы окружающие не подумали, что им кто-нибудь управляет, между тем люди, овладевшие его доверием, менее всего были достойны его и, злоупотребляя этим доверием, делали много вреда ему и всей армии [Бакунина 1887, 344–345]

Все Зубовы отличались честолюбием, спесью, беспринципностью в достижении своих целей и выборе средств. Показательно их поведение после возвращения из опалы, с которой и совпала короткая жизнь образцового ребенка. Д. П. Бутурлин послал А. Р. Воронцову 25 ноября 1801 г. «русские стихи, сочиненные на подвиги кулачных и палочных ударов, которые знаменуют шествие г-на Николая Зубова по улице Петербурга. Жена гр. Валерьяна (недавно, как мы знаем, лишившаяся сына — *Н. Г.*) задавила ребенка на улице. То, что они прошли, запечатлено, как путь кометы» (перевод с французского мой — *Н. Г.*) [Архив 1886, 305]. С. Р. Воронцов 6 мая 1803 г. писал: «Я полагаю, что этот В. Зубов — самый опасный из всех тех, кто обладает способностью пресмыкаться вокруг императора. Этот человек умен, очень изящен и ловок, но беспринципен, и он перевернет двадцать раз всю империю, если это будет полезно его устремлениям» (перевод с французского мой — *Н. Г.*) [Архив 1876, 205]. Окружение Зубовых, к которому принадлежит сочинительница «Образца детей», не только оправдывало, но и эстетизировало, героизировало их поведение, в том числе фамильные пороки. Поэтому-то именно чертами героя-царедворца, а не воина, как следовало ожидать, наделен в житии маленький граф. Формально ему внушались принципы внесловной морали, канонизированные просветительской педагогикой, исподволь любовались поступками, присущими зубовской породе. Автор жития с одобрением отмечает не стоическую серьезность гражданина, христианина, верноподданного, а любезность, веселость, салонное острословие и презрение к грубому шутовству, ласковую снисходительность к слугам и компаньонам. Все это обязательные качества куртизана, светского человека, без которых успех недостижим. Образцовому младенцу свойственна даже спесь, традиционно причисляемая к порокам, но здесь вызывающая похвалу как умение

занять подобающее место в обществе (глумление мальчика над лакеем, посмевающим при нем сидеть). Примерное дитя выступает не только обладателем собственного, но и блюстителем родового и сословного достоинства, впрочем, способно умерить тщеславие перед равным: осознав, что Орест — тоже граф, Платон, как ни мучительна ему мысль о своей неуникальности, смиряется, просит прощения и навсегда меняет тон. К началу XIX в. под влиянием филантропических настроений в детской литературе подобный персонаж чаще подавался сатирически, зато социальное поведение героя соответствует учебникам этикета более ранней эпохи [Истинная политика 1737; Грасиан-и-Моралес 1742; Бельгард 1747 и т. п.], по которым дворянина наставляли искусству жить в свете.

Итак, в «Образце детей», еще ждущем более подробного изучения, причудливо соединились традиционные и модные педагогические представления, каноны жития и предвестия новаторских поздних повестей Карамзина, риторические общие места и личные реакции на реальные события, руссоистская чувствительность и аристократические предрассудки, порывы эмансипированных дам и верность придворному этикету. В результате появился один из первых индивидуализированных детских образов в нашей словесности.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Текст дан в современной нам орфографии и пунктуации с сохранением курсива, но устранением разрядки, которая, видимо, образовалась, в основном, по техническим причинам. Восполнение грамматических несогласований (возможно, в результате опечаток) дано в квадратных скобках.

Образец детей, или Жизнь маленького графа Платона Зубова

*Милостивому государю Антону Антоновичу Антонскому,
шестого класса профессору, цензору и главному инспектору Бла-
городного пансиона при университете:*

Милостивый государь!

*Этот «Образец детей» переводил я в наставление себе и в науку;
а Вам как Другу детей, столько лет занимающемуся воспитанием
их, как Наставнику своему и Благодетелю приношу его в знак бла-
годарности за Вашу любовь ко мне, за Ваше усердие и попечение.*

Желаю быть достойным Ваших милостей — достойным Вашим воспитанником. Благодарность моя к Вам очень велика, она останется навсегда в сердце моем, но изъяснить ее ничем я не в силах, как этим малым трудом. Изъяснение сие очень слабо, но оно от чистого сердца, и я надеюсь, будет Вам приятно.

Пребуду с истинным почтением и преданностью, милостивый государь, Ваш покорнейший слуга Сергей Соковнин.

Дружба наложила на меня сей маловажный труд, а любовь к тебе, милый мой Платон, заставила его исполнить. Описывая жизнь твою, мне хотелось начертать глубже в сердце своем твой образ: занимаясь тобою, мне хотелось разделить свои чувствования и свою горечь. Так, так, те, кои прочтут мою книгу, узнают чрезмерность моей печали и вместе со мною прольют слезы о потере тебя; они представят тебя в образец своим детям. Ах! Да будут они тебе подобны во всем: в детской любви, в повиновении, кротости, сострадании, а особливо в бесценной чувствительности, которая заставляла всех любить тебя. На четвертом году ты был уже другом своих родителей; в сем нежном возрасте ты уже мыслил, рассуждал, чувствовал. Ты был единственная надежда, единственное утешение твоих нежных родителей; глядя на тебя, они забывали свои несчастья. Что я говорю? обладая тобою, они почитали себя счастливыми; гордились чрезмерною своею любовию к тебе и посвящали тебе жизнь свою. В цветущих летах, в летах радости и удовольствий, они жили только для тебя, занимались единственно твоим воспитанием; новое свойство, которое они открывали в тебе, даже одна твоя улыбка заставляла их забывать весь мир и все его великолепия.

Но Бог, не внимая нашим прошениям и усердным молитвам, лишил нас тебя: ты счастлив, но счастливы ли твои родители, все те, кои тебя любят?.. первые никогда не утешатся, а последние будут вечно жалеть о тебе. О милый Платон, будь нашим ангелом-хранителем, нашим заступником; зрирай на твоих несчастных родителей и, предстоя престолу Всемогущего, проси Его, да ниспошлет Он им не счастья — без тебя они не могут быть счастливы, — но мир душевный и силы к перенесению твоей потери.

К вам обращаюсь я, милые мои племянники!⁷ да почувствуете вы желание, читая некоторые черты четырехлетнего дитяти, подражать ему. Если хотите быть любимы своими родителями, хотите сделать их счастливыми, заслужить привязанность и удивление всех тех, кои будут вас знать, то подражайте другу моего сердца, милому

Платону. Мать была кормилицею его, и сие титло, священное для всех тех, кои имеют счастье быть матерями, было единственное, коим она гордилась. В двадцать лет, обладая красотою, богатством, величием, будучи всеми любима, обожаема, она оставила, забыла все и занималась только своим сыном. Природа, украсившая ее всеми дарами и соделавшая ее, к удивлению нашему, превосходнейшим творением, сама улыбалась и дивилась себе в сем милом дитяти. Мария с прекрасным лицом с очаровательными прелестями соединяла превосходную душу, нежное сердце, просвещенный разум, редкую чувствительность. Беспредельная благотворительность, делающая ее другом, помощником всякого страдальца, никогда без слез не смотрела она на слезы несчастливца; никогда не отпускала его от себя, не утешив его печалию стесненного сердца; она помогала всем бедным; ласкала, ободряла с кротостию, всех опечаленных. Такова была мать, кормилица платонова! Трудности, соединенные с сей должностию, не утрашали ее; она исполняла свою должность и была счастлива; находясь беспрестанно с ним, сколь часто искала она покою, чтоб иметь удовольствие видеть своего сына; сидя подле его колыбели или держа заснувшего в своих объятиях, она смотрела на него с сердечным восхищением, удерживала свое дыхание, чтоб слышать, как он дышит; устремляла на него неподвижно глаза свои, в которых изображалось живое удовольствие, и проливала радостные слезы. Никогда он не плакал по своей маменьке, и она от него не отходила. Одна улыбка, один взор милого ангела прогонял грусть и болезнь ее; в спокойствии сына находила она свое спокойствие. Нежность и заботы ее не остались без награждения; она с удовольствием видела, что сын ее столько же мало был подобен прочим детям, как и она другим женщинам.

В возрасте, в котором дети не чувствуют нужды, как только есть и спать, маленький Платон чувствовал, что ему нужно любить, обожать свою маменьку: он не мог быть без нее ни минуты; подле нее никогда не плакал он: любил в ней более свою маменьку, нежели кормилицу. По прошествии полутора года, графиня, желая его отнять от груди, с трудом решилась не показываться к нему несколько времени; но слезы, крик, отчаянье дитяти принудили ее прийти к нему. В тот же день, подошед к нему, она говорила, что не может уже более кормить его грудью для того, что от этого она может занемочь; дитя, залившееся слезами, улыбнулось вдруг от радости, что видит свою маменьку, протянуло к ней руки и, отворачиваясь от груди ее, дало ей своими выразительными телодвижениями разуметь, что ему нужна только маменька. После оно никогда не просило ее

груди; ей только было труднее усыпить его для того, что маленький Платон, обнимая и лаская ее беспрестанно, не спускал глаз с нее, опасаясь, чтоб она от него не ушла.

До двух лет с половиною был он воспитываем посреди армии, которою родитель его предводительствовал с честью и славою; маленький Платон любил солдат и позволял им всем носить себя; они с восхищением взирали на супругу и на сына неустрашимого их генерала, которые разделяли и переносили все трудности походов и лагеря. В сыне видели они и обожали героя, подобного его родителю. Он без малейшего страха слушал, как стреляют из пушки; засыпал часто при барабанном бое, а иногда и на самом барабане. Мать с приятностию взидала, как он привыкал ко всем сим трудностям, и старалась внушить ему любовь к военной службе, в надежде, что он будет некогда идти по стезям отца своего.

Я не стану говорить много об его лице: это был истинный портрет его матери; это была Мария, это был Амур; но я исчислю свойства ангельской души его. На третьем году уже имело дитя сие редкую чувствительность: увидев печального, оно все оставляло и ничем не занималось, как только утешало его. Однажды вошла дама печальная, бледная, с растрепанными волосами, с слезами на глазах; оно тотчас вырывается из объятий своей маменьки и, не пугаясь мрачного виду погруженной в горесть, прибегает к ней, обнимает ее, протягивает к ней маленькие ручонки, чтоб отереть слезы, катившиеся по лицу несчастной, приносит к ней свои игрушки, конфеты и, видя, что она улыбается, восклицает с радостию: «Маменька! она уже не плачет». В другой раз графиня толковала ему, что изображено на картинах; увидев на одной из них бедных, просящих милостыни, удивленное дитя спросило: «Для чего они так печальны?» «У них нет хлеба», — отвечала его маменька; «они верно очень голодны», — сказал[о] оно со слезами на глазах; и в ту же минуту побежало и возвратилось, запыхавшись, неся множество кусков хлеба: «Вот, маменька, накормим их, накормим поскорее, чтоб они не терпели голоду».

Маленький Платон был всегда послушен своим родителям: довольно было сказать ему один раз: «не трогай этой вещи», и он не желал уже ее более. *Папенька, маменька мне не приказали* — было для него священно. Он их любил столь же нежно, как и они его. Граф занемог — Платон плакал и говорил с негодованием своему товарищу, который играл: «Как можешь ты играть, Орест?»⁸ папенька болен, я даже есть не могу»; да и в самом деле с трудом можно было заставить его поесть что-нибудь. Он беспрестанно

говорил: «Когда папенька выздоровеет, тогда и я наемся и наиграюсь с удовольствием». Болезнь графа продолжилась, и Платон не отходил от его постели. Он бросил все свои игрушки, забавы, чтоб быть вместе с ним; он старался рассеять его своим лепетанием и, не успевая в том иногда, брал в руки Плутарха, зная, что папенька любил эту книгу; садился на его постель и просил его рассказать ему, что сделали все эти люди, коих портреты он видит, Отец улыбался, видя нежную внимательность своего сына и, забывая болезнь свою, удовлетворял любопытство маленького философа; дитя слушало со вниманием и старалось запомнить, чтоб пересказать на другой день. Оно знало уже, что Кесарь победил Помпея, и часто говорил[о]: «Прекрасно было Фарсальское сражение!».

Платон обожал свою маменьку, говорил о ней с восторгом, смотрел на нее часто по целому часу и ласкал ее, приговаривая: «маменьки моей нет добрее, милее». Если она его оставляла хотя на короткое время, то был он печален, беспокоен, говорил только о ней и занимался тем, что ей было любезно; собаку, кошку графининых кормил сам и, лаская их, говорил: «маменька вас любит — и я буду любить вас»... как радовался, восхищался, услышав, что едет ее карета; он бежал навстречу к своей любезной маменьке; никто не мог его тогда выпередить: он первый бросался к ней в объятия; плакал, трепетал от радости и долго не мог выговорить ни одного слова, не мог изъяснить своей радости, как только слезами и объятиями. Она не имела нужды бранить его; один невеселый взгляд — и он уже был у ног ее и, сложив ручонки, говорил: «не сердитесь, маменька: я буду умен, уверяю вас». Графиня улыбалась... и целовала его.

Нельзя довольно нахвалиться его кротостию, повинованием; вот пример, достойный удивления: однажды, по ветренности, простительной его возрасту, забыл он приказание своей маменьки, она выговаривала ему с кротостию; но дитя, слушая с рассеянностью, сделало опять тот же проступок. Графиня почла за нужное устремить на него свое внимание и привязала его за руку к столбу кровати своей. Дитя, пристыженное и опечаленное наказанием (это было первое), стояло, не трогаясь с места и не смея поднять глаза. После нескольких минут графиня увидела, что оно отвязывало от руки нитку; удивляясь чрезвычайно такой смелости, она закричала на него. «Маменька, — говорил Платон с кротостию, — я отвязывал нитку не для того, чтоб вас послушаться, но чтоб привязать ею другую руку: эта болит у меня, а вам, верно не хочется,

чтоб я сделался болен». И в самом деле — рука его покраснела и распухла. Графиня тотчас отвязала своего сына и дивилась ему.

Я уже сказала, что она не поступала с ним строго: если случилось ей делать ему выговор, то она делала его с прискорбием, и горсть его делила с ним вместе; однажды, следуя своему пылкому характеру, сделал он проступок, который я расскажу, к чести нашего маленького героя. Мать задала ему урок; дитя позабыло из него некоторые слова, досаду на его молчание и приписывая это упрямству, ударила она его; Платон вместо того, чтоб плакать, как делают обыкновенно другие дети, посмотрел с минуту на свою маменьку, с нежностью схватил руку, ударившую его, и целовал ее много раз. Какой урок от четырехлетнего дитяти! Графиня дала обещание не поступать с ним так строго, а дитя сделалось от того тише и послушнее. Вот еще пример кротости, всегда его отличавшей, и старания исправлять свои ошибки. Однажды забылся он до того, что не послушался своей маменьки — с сердечным прискорбием сделала она ему выговор. Платон, признаваясь в вине своей, залился слезами. Домовой лекарь, услышав его рыдания и видя, что он весь покраснел, опасался, чтоб он не занемог: ему известно было слабое его сложение. Он советовал графине отпустить его в поле на чистый воздух; она призвала его дядьку и сказала ему: «возьми это дитя, я не хочу его более видеть, оно мне только досажает». Платон, услышав это, был в отчаянии.

С стесненным сердцем, с слезами на глазах, не смея подойти к своей маменьке, рассердившейся еще в первый раз, Платон бросился к углу, пал на колени и протянул к ней ручки, не говоря ни слова. Она в ту же минуту отворотилась, стараясь скрыть от него свои слезы. Господин Лесаж взял его за руку и повел в поле. Лишь только вышли они за город, бросился опять он на колени и, устремив глаза и подняв руки к небу, говорил: «Боже мой! утешь меня тем, чтоб маменька взяла меня опять к себе». Говоря это, он так много плакал, что г-н Лесаж не мог удержаться от слез, обнял его и понес в объятия к маменьке.

Он умел хранить тайну. Вверив ему ее, можно было испытать его скромность: он никогда не открывал вверенной ему тайны. Как приятно было видеть, когда все употребляемые покушения оставались тщетны. Нельзя было смотреть без удовольствия на большие голубые его глаза, устремленные на спрашивающего, на прекрасное его лицо, которое он старался сделать серьезным; он беспрестанно повторял, что ничего не знает; когда же от него отворачивались,

то, улыбаясь приятно и приложив палец к губам, просил товарища своего молчать, если он имел участие в тайне.

Он совсем не заводил дружбы со слугами, будучи всегда добр, ласков к ним, ему хотелось, чтоб и они имели к нему почтение. Играя однажды в зале, он удивился, увидев, что камердинер его папеньки сидел. Это ему было очень неприятно. Не смея бранить его для того, что было ему запрещено гордиться и спорить, он подошел к нему и, поклонившись низко, спросил с насмешливым и лукавым видом: «Давно ли сделались вы барином, и как смеете сидеть в присутствии господина Лесажа?». Камердинер извинился и вышел вон. За обедом тот же самый лакей хотел переменить ему тарелку, но дитя, приняв на себя важный вид и удерживая его за руку, говорил: «вы, верно, позабыли, государь мой, что вы не слуга, а что вы хотите сами быть господином».

Вот черта, показывающая самолюбие и даже тщеславие милого Платона! Однако ж я расскажу ее к славе нашего героя: из нее можно увидеть его способность к скорым ответам и к исправлению своих проступков. Граф, заметив, что он с товарищем своим обходился не так ласково, но больше учтиво, нежели дружелюбно, спросил у него: «Зачем гордиться, милый Платон! Орест так же, как и ты, маленький граф». «Неправда, папенька — отвечало дитя, качаясь в маленьких своих креслицах, — Орест не граф, он не то, что я». «Не спорь, мой друг, я тебе говорю, что он то же, что и ты». «Хорошо — отвечал Платон, — пусть он будет графом, а я уже не буду им для того, что мы не равны друг другу; если он граф, то мне уже нельзя им быть». Хотя ответ этот показался графине глупым и вместе прекрасным; но она сочла за нужное сделать ему за то выговор; она привела его в стыд, говоря ему об его тщеславии и о том, сколь это обидно маленькому его товарищу. Платон, признавая вину свою и видя, что Орест стоял в углу печален и не весел, подбежал к нему и, обнимая его несколько раз, просил у него прощения; с сего времени были они уже всегда друзьями.

Он имел удивительный разум по своим летам. Хотя он был смел и проворен, но всякая опасная забава ему не нравилась; «можно ошибиться, подвергаясь опасности», — говорил он. Однажды графиня училась ходить на ходулях; увидев, что она качается, Платон подбежал к ней тотчас и просил ее сойти с них. «Ах, маменька, — вскричал он, — сойдите поскорей, Вы можете упасть и даже изломить ногу; тогда вы будете ходить на деревяшке, как мой бедный папенька. Бога ради, сойдите, маменька, не играйте в эту опасную игру». Она его послушалась и больше уже не ходила на ходулях.

Он никогда не сердился: всегда жив, весел, резв, он забавлялся, никого не беспокоя: учтив, ласков ко всякому, он умел заслужить любовь всех тех, кои его знали. Он очень любил детей: у лекаря был дитя пяти месяцев, которым он занимался более всего, забавлял его всем, чем только мог, играл вместе с ним, качал его в колыбели и часто, сидя подле него спокойно, пел, чтоб его усыпить. Если слышал шум, то говорил: «Тс! тс! дитя хочет спать»; и до тех пор не отходил от него, пока оно не засыпало, а сам прибежал к своей маменьке и хвастался своим успехом.

Он имел редкое доброе сердце: если, играя с своими товарищами, им случалось уронить его или ушибить, то, попросив его, чтоб не плакал для того, что их будут бранить за то, он тотчас вставал, дул в маленький свой платок и прикладывал его к глазам своим, чтоб они не были красны; он сам досадовал на то, что их опечалил и старался утешить.

На четвертом году Платон был уже другом своей маменьки, а иногда поверенным ее горести. Графине было приятно рассказывать ему свои несчастья, он умел ее утешить: «это пройдет, маменька, не плачьте!..». Он проливал вместе с нею слезы и обнимал ее с нежностью; какая горесть может противиться ласке сего ангела-утешителя! Она все забывала, кроме счастья, что им обладает.

Он имел чрезвычайную охоту к учению: любил только те игры, кои могли научить его чему-нибудь; просил, чтоб ему толковали фигуры натуральной истории и знал имена всех животных. Но всего приятнее ему было, когда расскажут ему прекрасную повесть или когда дадут ему карандаш: он везде, где только можно было, чертил четыре части света.

Однажды ввечеру, когда все занимались шутком, Платон, не могший терпеть его, взял г-на Лесажа за руку и просил его идти с ним в другую комнату: «Станем лучше рисовать, г-н Лесаж: я не могу терпеть дураков и не знаю, как можно забавляться ими». В этом случае поступил он всех умнее, и все с удовольствием то одобрили. И сие милое, обожаемое дитя умерло! Жестокая судьба, играющая нашими желаниями или завидующая нашему счастью, лишила нас его! Оно занемогло 16 октября: в этот вечер графиня хотела ему задать небольшой урок, но Платон говорил, что он не может читать, у него болит горло; сначала она подумала, что он это сказал для того только, что не хотел учиться; но он уверил нас в том своими слезами, которые показывали, что он не лжет. Его тотчас положили в постелю; в ту же самую ночь высыпала опасная корь. Поутру

болезнь его увеличилась: горло болело чрезвычайно. С трудом взял он графинину руку и, целуя ее, говорил: «Маменька, вчера вы мне не верили, но я был очень болен и никогда не лгал». Во все время болезни он говорил и занимался только своею маменькою; принимал все лекарства, желая угодить ей тем, и, не в состоянии будучи иногда принять их, старался с усилием принудить себя к тому; беспрестанно произносил ее имя: «Понесите меня к маменьке: подле нее мне будет легче». Но ах! Несчастнейшая мать не слыхала ничего: лишенная всех чувств: она была вне себя и чувствовала одну только жизненную способность терпеть.

Он обнимал нас, целовал наши руки, чтоб мы снесли его к маменьке. Накануне своей смерти, потеряв надежду видеть ее и не желая того сам для того, что боялся огорчить ее своею болезнью; просил меня принести ему дульет⁹ его маменьки: «Положите меня на него: мне от этого будет легче»; он просил, чтоб его снесли на кровать графинину; спрашивал ее подушки, одеяло; обклатил себя всем тем, что ей принадлежало, целовал каждое платье и успокоивался, повторяя тихонько имя своей маменьки.

О бесценный Платон! ты умер в моих объятиях, в объятиях твоей второй матери вылетел последний вздох из груди твоей! Никогда воспоминание об этой ужасной минуте не изгладится из моей памяти; никогда тебя не забуду; воспоминание о тебе сделает меня добродетельнее, удержит от худого дела и ободрит идти всегда стезею правды. Мария, ты была счастливейшая мать, но теперь ты несчастнейшая: нет уже более твоего сына, твоего любезного Платона!.. Плакивай его смерть, его невозвратную потерю, но не предавайся отчаянию: страшись позабыть, что жизнь твоя, хотя и несчастная, нужна еще для счастья других. Утешай себя мыслию, что сын твой сопричтен сонму ангелов, что он взирает на тебя с высоты небес, благословляет тебя за жертву, которую ты приносишь ему, храня жизнь свою для его родителя, который сам живет тобою! Живите друг для друга, живите, по крайней мере, для того, чтоб соболезновать о своем сыне.

Любезный Платон! взирай с небесною улыбкою на всех нас, на твоих несчастных родителей и на тех, кои тебя любили! Мы тебя будем призывать, будем произносить имя твое в своих молитвах, да будешь ты нашим заступником и ходатаем у Всемогущего!

Маленький граф Платон Зубов родился 29 марта 1796 г., а умер 23 октября 1800 г.

Примечания

- 1 В качестве героя книги ошибочно указывали Платона Александровича (напр. в каталоге Российской национальной библиотеки) или Платона Николаевича Зубовых, но они умерли соответственно в 1822 г. и 1855 г.
- 2 Об А. С. Всеволожской (Голицыной) подробнее см., напр. статьи Т. Фадеевой и О. Хорошиловой [Фадеева 2016]; [Хорошилова 2021].
- 3 Сведений о более ранних ее публикациях найти не удалось
- 4 Пока не ясно, кем из соименных современников, сведения о которых скудны, выполнен перевод. Сопоставление его с французским оригиналом не входит в задачи публикатора, который стремится представить читателям именно русский текст.
- 5 Вопреки тексту «Образца детей», где указано имя Марии, в наиболее информативной работе о Всеволожской (Голицыной) матерью маленького Платона ошибочно названа знаменитая Суворочка, Наталья Александровна Суворова, дочь полководца, жена не Валериана, а Николая Александровича Зубова [Фадеева 2016, 31].
- 6 Всеволожская не имела и позднее, в браке, собственных детей, но сыну подруги явно симпатизировала. «Вторая мать», взрослая дама, объект платонических чувств отрока, часто возникает в сентиментальной прозе от «Исповеди» Руссо до «Рыцаря нашего времени» Карамзина.
- 7 Вероятно, речь не о новорожденных Софье Николаевне Всеволожской (в замужестве Волкова, 1800–?), Николае (1798–1862) и Сергее (1800–1870) Ивановичах Мещерских, старших детей брата Николая и сестры Софьи, а о внебрачном сыне и о пасынке последней — Николае Евгеньевиче Лукаше (1796–1868) и Василии Ивановиче Мещерском (до 1796–1871).
- 8 Точно установить данное лицо не удалось, но если Орест не домашнее прозвище, не исключено, что речь о польском графе Оресте Ивановиче Грабовском.
- 9 Верхняя женская одежда, вид теплого халата.

*Литература**Источники*

- Архив 1876* — Архив кн. Воронцова / Ред. П. И. Бартенев. Кн. 1–40. Кн. 10: Бумаги графа Семена Романовича Воронцова: Ч. 3. М.: тип. А. И. Мамонтова, 1876.
- Архив 1886* — Архив кн. Воронцова / Ред. П. И. Бартенев. Кн. 1–40. Кн. 32: Бумаги графов Воронцовых: (И. И. Шувалов; граф Д. П. Бутурлин; Н. А. Львов). М.: тип. А. И. Мамонтова, 1886.
- Бакунина 1887* — Бакунина В. И. Персидский поход в 1796 г. // Русская старина. 1887. Т. 53. № 2. С. 344–374.

- Бельгард 1747* — Бельгард Ж. Б. М. де. Совершенное воспитание детей... Печатано в Санктпетербурге: при Императорской Академии Наук, 1747.
- Булгарин 1846* — Булгарин Ф. В. Воспоминания Фаддея Булгарина: отрывки из виденного, слышенного и испытанного в жизни: Ч. 1. СПб.: издание М. Д. Ольхина, 1846.
- Вяземский 1883* — Вяземский П. А. Полное собрание сочинений: [в 12 т.]. Т. 8. СПб.: издание графа С. Д. Шереметева, 1883.
- Гельбиг 1887* — Гельбиг Г. фон. Русские избранники и случайные люди в XVIII в. // Русская старина. 1887. Кн. 56. № 11. С. 425–444.
- Глинка 2004* — Глинка С. Н. Записки. М.: Захаров, 2004.
- Гончаров 1997* — Гончаров И. А. Полное собрание сочинений: в 20 т. Т. 1. СПб.: Наука, 1997.
- Грасиан 1742* — Грасиан-и-Моралес Б. Грациан Придворной человек. [СПб.]: при Императорской Академии наук, 1742.
- Екатерина II, Потемкин 1876* — Императрица Екатерина II и кн. Г. А. Потемкин. Подлинная переписка // Русская старина. 1876. № 9. С. 21–38.
- Жуковский 1999* — Жуковский В. А. Полное собрание сочинений: в 20 т. Т. 1. М.: Языки русской культуры, 1999.
- Истинная политика 1737* — Истинная политика знатных и благородных особ. В Санктпетербурге: печатано при Императорской Академии наук, 1737.
- Карамзин 1964* — Карамзин Н. М. Избранные сочинения: в 2 т. Т. 1. М.; Л.: Худож. лит., 1964.
- Массон 1996* — Массон Ш. Ф.Ф. Секретные записки о России времени царствования Екатерины II и Павла I: Наблюдения француза... М.: Новое литературное обозрение, 1996.
- Образец 1801* — Образец детей, или Жизнь маленького графа Платона Зубова. М.: в типографии Сената у Селивановского, 1801.
- Руссо 1912* — Руссо Ж.-Ж. Эмиль, или О воспитании. СПб.: Газ. «Шк. и жизнь», 1912.
- Фонвизин 1959* — Фонвизин Д. И. Собрание сочинений: в 2 т. Т. 1–2. М.; Л.: Гослитиздат, 1959.
- Фревилль 1800* — Фревилль А. Ф. И. Жизнь славных детей: С присовокуплением похвальнейших примеров любви к родителям... Ч. 1. М., 1800.

Исследования

- Бантыш-Каменский 1836* — Бантыш-Каменский Д. Н. Словарь достопамятных людей русской земли...: в 5 ч. Ч. 2: Г. И. М., 1836.

Костюхина 2008 — Костюхина М. С. Золотое зеркало: Русская литература для детей XVIII–XIX вв. М.: ОГИ, 2008.

Кочеткова 1994 — Кочеткова Н. Д. Литература русского сентиментализма (Эстетические и художественные искания). СПб.: Наука, 1994.

Лотман 1994 — Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII–начало XIX в.). СПб.: Искусство, 1994.

Муравьева 2021 — Муравьева О. С. Как воспитывали русского дворянина. СПб.: Эксмо, 2021.

Сергиенко 2015 — Сергиенко И. А. «Смерть героя»: сюжет о гибели ребенка в нравоучительной прозе конца XVIII в. // Детские чтения. 2015. № 1 (7). С. 113–127.

Фадеева 2016 — Фадеева Т. М. «Я люблю Побережье, и мой долг — сделать его цветущим!..»: Южный берег русской аристократии: из истории освоения крымского Южного берега 1820–1830 гг. в неопубликованных письмах княгини А. С. Голицыной Александру I, М. С. Воронцову и другим лицам. М.: Прогресс-Традиция, 2016.

Хорошилова 2021 — Хорошилова О. А. Русские трагедии в истории, культуре и повседневности. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2021.

References

Bantysh-Kamenskij 1836 — Bantysh-Kamenskij, D. N. (1836). Slovar' dostopamjatnyh ljudej russkoj zemli in 5 parts [Dictionary of memorable people of the Russian land] (P. 2.). Moscow.

Fadejeva 2016 — Fadejeva, T. M. “I love the Coast, and it is my duty to make it bloom!..”: The southern coast of the Russian aristocracy: from the history of the development of the Crimean South coast in 1820–1830. in unpublished letters of Princess A. S. Golitsyna to Alexander I, M. S. Vorontsov and others [“Ya lyublyu Poberezh'e, i moy dolg — sdelat' ego tsetushchim!..”: Yuzhnyy bereg russkoy aristokratii: iz istorii osvoeniya krymskogo Yuzhnoberezh'ya 1820–1830 gg. v neopublikovannykh pis'makh knyagini A. S. Golitsynoy Aleksandru I, M. S. Vorontsovu i drugim litsam]. Moscow: Progress-Traditsija.

Horoshilova 2021 — Horoshilova, O. A. Russkie travesti v istorii, kul'ture i povsednevnosti [Russian travesty: in history, culture and everyday life]. Moscow: Mann, Ivanov i Ferber, 2021.

Kochetkova 1994 — Kochetkova, N. D. (1994). Literatura russkogo sentimentalizma (Esteticheskie i hudozhestvennyje iskanija) [Literature of Russian Sentimentalism (Aesthetic and Artistic Searches)]. Saint-Petersburg: Nauka.

Kostjuhuna 2008 — Kostjuhuna, M. S. (2008). Zolotoje zerkalo. Russkaja literatura dlja detej XVIII–XIX vv. [The Golden Mirror: Russian Literature for Children of the 18th — 19th Centuries]. Moscow: OGI.

Lotman 1994 — Lotman, Ju. M. (1994). *Besedy o russoj kulture: Byt i traditsii russkogo dvorjanstva (XVIII–nachala XIX v.)* [Conversations about Russian Culture: Life and Traditions of the Russian Nobility (18th–early 19th centuries)]. Saint-Petersburg: Iskusstvo.

Muravjeva 2021 — Muravjeva, O. S. (2021). *Kak vospityvali russkogo dvorjanina* [How was educated a Russian nobleman]. Saint-Petersburg: Eksmo.

Sergienko 2015 — Sergienko, I. A. (2015). “Smert’ geroja”: Sjužet o gibeli rebjonka v npravouchitelnoj prose kontsa XVIII v. [“The Death of a Hero”: a Plot of the Child’s death in the Doctrine Prose of the End of the 18th Century] *Detskije chtenija*, 1 (7), 113–127.

Nikolai Guskov

Saint Petersburg State University

A CHEVALIER OF A SENTIMENTAL EPOCH: THE BIOGRAPHY
OF A LITTLE ARISTOCRAT

The article presents the forgotten book “The Model of Children, or the Life of the Little Count Platon Zubov” (1801), written in French by A. S. Vsevolozhskaya and translated into Russian by S. Sokovnin. The son of General Valerian Zubov (a favorite of Catherine II) died in 1800 at the age of 4 and a half years and is presented in the book as an ideal child. The text is examined in the context of literature about children of the 18th — early 19th centuries. We can see here the influence of A.-F.-J. Freville’s “Life of the famous children”. Compared with most of the texts, “Model of Children”, although it contains canonical features of hagiographic and didactic works, demonstrates an attempt to introduce elements of psychologism and reality, to capture a specific image of a little aristocrat of his time. It combines elements of a sensitive nature as a result of female upbringing and the traits inherited from little count’s father as a courtesan with class prejudices. This image anticipates the characters of Nikolai Karamzin’s later prose.

Keywords: literature for children, Russian literature of 18th century, Valerian Zubov, sentimentalism